



Валентин Пикуль
Звезды над болотом

«ВЕЧЕ»

Пикуль В. С.

Звезды над болотом / В. С. Пикуль — «ВЕЧЕ»,

«Звезды над болотом». Его основой стали письма каракозовцев – политических ссыльных конца 1860-х годов. На подлинных материалах базируется достоверное повествование о жизни северной провинции, о том, как в дикой полярной глуши, в городе Пинеге, на границе с тундрой, вдруг вспыхивают проблески новых отношений между людьми.

© Пикуль В. С.

© ВЕЧЕ

Содержание

Часть первая	5
Часть вторая	15
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Валентин Пикуль

Звезды над болотом

Однажды на улице извозчик жестоко порол кнутом павицу от усталости лошадь. Громадная толпа собралась вокруг, все возмутились, звали на помощь городского. Но вдруг из толпы выбежал юноша, вырвал у извозчика кнут и тут же, на глазах ошеломленных людей, выдрал этим кнутом самого извозчика.

Это был Дмитрий Каракозов. Товарищам он часто говорил:

– Я не люблю лишних слов... К чему эти слова, если от человека жизнь требует только дела?

После выстрела в царя, когда ему уже стали крутить руки, он все-таки обратился к помощи слов.

– Я за вас... за вас! – кричал в сторону простонародья.

Но это были беспомощные слова. Как и тот выстрел.

Гой еси, читатель! Слушай, человек, некое сказанье о недавнем вече...

Л. Трефолов

Часть первая

Болотные люди

Городишко Пинега – место дикое да топкое, проклятущее место: куда ни глянь – чащобы непролазные, куда ни ступи – болота мшистые. Окрест на версты многие – только кочкарник, мшага, осока, клюква да морошка, а надо всем этим тучей кромешной виснет кровососущий и ликующий от крови гнус.

Так и говорили тогда пинежане:

– Волка-то мы и сами залягаем, а вот от комарья никак не отбиться... Ложись и помирай. Пушай жрет, коли в нем настоящего благородного понимания нету... Бяда с гнусом, прямо бяда!

Вокруг уездной канцелярии скучились кое-как, вразброд невеселые домишки. По гнилым мосткам хлюпают заросшие сивым волосом дремотные обыватели – весьма опохмеленные. В руке у каждого – дубье, чтобы от бездомных собак было чем отмахиваться. Ну а ежели палкой не спасешься, тогда один выход: на четвереньки вставай и лай – собаки тебя уже не тронут.

А собачье в Пинеге злое: уж на что волки тундровые (сами ростом с теленка) и те – все окрестные деревни обвоют, а на пинежские улицы забегать побаиваются.

Во главе вечно голодной и лютой пинежской своры стояла тогда матерая истасканная сука с желтыми зубами, и пинежане за одну привычку ее, свойственную каждой собаке, окрестили ее метким словом – «задрыга»...

Невесело жить на Пинеге. Будто отрезали тебя от России – ломтем ненужным, задвинули на край стола: пропадай ты пропадом! И летом (под тонкий комариный зуд), и зимой (под метельные визги и всхлипы) смыкается над городом, словно цирковой купол, глухая непроходимая тоска. Приезжала тут как-то, еще в Севастопольскую кампанию, персоне одна важная из столицы, выучила чиновников играть в преферанс – так и на том спасибо. Ну и выпил человек от тоски этой самой. Ну закусил чем бог послал. Ну вестимо, и похмелил себя с утра пораньше... А дальше-то что? Дальше-то как жить будем?

– Ништо, – говорят люди опытные. – До нас на Пинеге тако жили, не тужили. И опосля нас жить станут тако же... Самое главное, Иван Прокофьич, это – не терять хладнокровия. Все можешь делать, хучь нагишом по сугробам бегай, но хладнокровие при этом блюди...

Читают здесь «Губернские ведомости», что по месяцу из Архангельска доходят, да еще вот у секретаря уездного – Аполлона Вознесенского (которого из духовной академии за неистовое пьянство вышибли) книжки берут разные для прочтения. Дамы пинежские от Тургенева и графини Салиас де Турнемир без ума бывают. А сильный пол предпочитает Дюма и Вальтера Скотта, дабы, умственно беседуя с королями и принцессами, и себе в мыслях рыцарский замок построить.

Сам же владелец библиотеки, единой на всю округу, Аполлон Вознесенский – человек вполне образованный и потому самодержавно гневен в поступках своих. Ежели станешь ему перечить, он тебя, как лягуху поганую, расшибет. Во образе частной жизни своей Вознесенский весьма дик. Ногтей не стрижет, волос не коротит на башке своей и любит пить водку пополам с мадерой. А когда напьется, то берет гвозди и молоток – забивает гвозди куда попало, отчего удивительно быстро трезвеет. Взяток секретарь от народа не берет, живет бедненько. Однако уважением в обществе он пользуется и с отцом Герасимом Нерукотворновым до слез о тайнах мироздания спорит.

К тому же, по старой студенческой памяти, Вознесенский в какие-то газеты вхож. Правда, давно уже ничего не пишет, но еще грозитя написать толстенную книгу о разных пинежских мерзостях. Будучи трезв, Аполлоша даже скромн: мол, все уже он продумал – только писать. А в пьянственном виде он кричит на обывателей слова ужасные – такие слова:

– Я вас всех знаю как облупленных! У меня книжка уже готова... один последний взмах пера остался. Вдохновения ожидаю адского, аки молния, дабы одним ударом покончить с вами. И только прах оставлю от Пинеги!

Только дважды в году оживает Пинега от затяжной медвежьей спячки: одна ярмарка – на праздник Николы, другая – на Благовещенье. Тогда с утра до ночи меж возов и оленьих аргишей¹ разный заезжий люд топчется. Кто покупает, а кто – просто так, глядит больше.

Тут и самоеда² из Пустозерска увидишь, и гости ярославские с красным товаром понаедут, хитрый инжемец шкурки беличьи по снегу разложит. Холмогорские косторезы бродят – присматриваются к костям моржовым и мамонтовым, чтобы увезти кость домой, и там, всю полярную ночь до весны самой, резать и резать узоры драгоценные.

Иногда цыганка появится, тряся юбками: весь город у нее перегадает. А то мужик из кабака вывалится наискосок, увидит оглобли пустые, завоет благим матом:

– Ратуйте, православные, лошадку остатнюю увели!..

И сразу шапку на палку возденет, сигналил ею над головами, чтобы все издалека видели: горе случилось у человека...

Из местных же примечательностей в Пинеге только собор, строенный еще при Екатерине II, да славный монастырь Красногорский, что в двенадцати верстах от города. Вознесся сей монастырь на высоком холме – поближе к Богу. Тускло посвечивают витые луковицы храмов, внизу река бежит неспеша к океану, а наверху облака плывут. Тишина вокруг, тишина...

И показывает отец настоятель каликам переходим грубую плиту каменную, под которой упокоился вдали от славы московский князь Василий Голицын. Да еще в ризнице – плащаница старая и «воздухи» узорчатые, руками царевны Софьюшки для своего любимца шитые. Вот и все, что осталось от страсти горючей.

Давно это было... Так давно, что дожди уже смыли надгробные письмена, а ту Красногорскую рощицу, в которой гулял опальный вельможа, вырубил недавно первогильдейский

¹ Аргиш – обоз упряжек с оленями.

² Автор называет ненцев по-старому – самоедами, соответственно той эпохе, которую он описывает.

купец Тимофей Горкушин, который по паспорту своему числился в «почетных потомственных гражданах» великой Российской империи...

Ну, вот и весь вам город Пинега, а душ человеческих в нем на то время считалось всего четыре сотни.

Деревня!

.....
А что больше всего любили в Пинеге, так это – политику, язви ее в корень. Вот уж здесь любой регистратор коллежский или ревизор винных откупов рассуждал до хрипоты в голосе и дрожания в суставах. По газетам все, бывало, обсудят. Перессорятся меж собой. Выпьют. Закусят. Помиряются. И каждый раз придут к согласному заключению:

– Мы люди лесные, еловой шишкой чешемся; до нас никакому Гамбетте не доплюнуть. А все-таки какие мы либералы, господа! Без сомнения скажем: Пинега ныне стала родным братом Парижу...

Весной 1866 года (а весна выдалась ранняя) «Ведомости» долго не приходили. Или застрял почтарь в слякоти, или запьянствовал по дороге. А когда «Ведомости» из губернии прибыли, тут и узнали пинежане, что было апреля четвертого дня в стольном граде Санкт-Петербурге учинено злодеем покушение на благословенного царя-батюшку Александра Николаевича.

Многие, кто постарше, еще двадцать пятый год помнили. Но тогда хоть дворяне, войска гвардии, знать, а тут... Прощельга-студент какой-то, и вздумал на помазанника божиего руку поднять – шутка ли? «Кудыть идем? Кудыть движемся?..»

И фамилия у злодея какая-то странная: отец Герасим Нерукотворнов сколько ни бился, а выговорить ее никак не мог:

– Зако... Козо... Зарако...

– Каракозов! – поучал его секретарь Вознесенский. – А сие слово по-татарски «черный глаз» означает.

– Тьфу ты! – плевался батюшка. – Только это не татарин, а, видать, природный «пше-прошем». Это они... это поляки... это их Герцен из Лондона мутит!

По случаю чудесного избавления царя от смерти (и по примеру Архангельска) решено было в соборе благодарственный молебен служить с водосвятием. В самый патетический момент службы, когда многие плакали, раздался один звук, всем отлично знакомый: «буль-буль-буль...» Виновного не нашли, но люди знающие сказывали, что это секретарь Вознесенский прикладывался.

Во время молебна помянут был картузных дел мастер Осип Комиссаров, а ныне дворянин, по прозванию – Костромской, который отвел пистолет злоумышленника Каракозова, и пуля пролетела мимо царя. При этом чиновник местного акциза, Алексей Стесняев, шепнул на ушко жене пинежского исправника:

– Вообразите только, Анна Сократовна, какая фортуна сему голодранцу выпала! Картузы на чернь шил, а ныне ко двору зван, с мамой государыней императрицей небось чай из самовара хрустального с ихними царскими детками попивает...

– Ужась! Ну просто ужась, – отвечала, косясь на красавца, начальственная дама.

– А случить бы мне, – мечтал Стесняев, – такая честь выпала, так я бы ни за что «Костромским» не стал называться... «Стесняев-Мадридский» – чем плохо?

– Ужась, – вздыхала исправница, колыхаясь полной грудью. – Вас коли послушаешь разочек, так и самой захочется чего-то такого... нездешнего, благоуханного и возвышенного!

А был Стесняев (коли уж речь о нем пошла) знатный сердцеед, хотя и имел нрав тишайший. К службе радел примерно, у начальства на виду был. И голосом и собой отменно приятен. Воротнички носил стоячие, гулять ходил только с зонтиком, а волосы, чтобы девицам нравиться, лимонною цедрой смазывал. Галош вот только у него еще не было (за галошами надо в Архангельск ехать – именно там все блага жизни!).

– Стерррва ты... угодник бабий, – не однажды рычал на него Аполлон Вознесенский, на что Стесняев всегда почтительно грубияну отвечивал:

– Это вы, Аполлон Касьянович, про стерву напрасно говорить изволите. Сам господин исправник обо мне худого не скажет. А то, что я к дамам преклонение имею, так это от нежности моей душевной...

– Прочь... рраззорву! – рявкал Вознесенский.

В карты Стесняев не играл, вина пил самую малость, зато хорошо пел на клиросе и любил тушить пожары.

Пинежский исправник, Филимон Аккуратов, город держал в строгости. На каждый дом повелел прибить доску с красочным изображением ведра, топора или бочки. А вот на доме Стесняева была обозначена швабра.

И каждый раз, как случался «красный петух», он – полуодетый, в радостном исступлении – бежал, выпуча глаза, на пожар. Там бесстрашно лез в жарынь, в самое пекло, вдохновенно орудуя мокрой шваброй. Половина сердечных успехов Стесняева обязана как раз его героическому поведению на пожарах.

Не одно уже сердце разбилось на сто кусков при виде акцизного юноши со шваброй – среди огня и копоти.

Ах, как он был прекрасен в эти моменты!

.....

Как раз на тот день, когда пришла с оказией весть о казни в Петербурге государственного преступника Дмитрия Каракозова, ночью вдруг загорелся дом купца Тимофея Горкушина.

Сам Горкушин – сильный, костлявый старик – метался в одном исподнем по двору усадьбы своей, прыгал босыми пятками среди ярких брызг, надрывно и жалобно выл;

– Подождли меня... знаю, что не сам горю... подождли-и!

Стесняев, как всегда, первым кинулся в огонь, бабы побежали к реке с ведрами. Приказчики Горкушина – строгие, молчаливые парни – скинули разом пестрые жилетки, дружно работали баграми. Пламя зашипело, поползло вниз, раскаленные бревна стен медленно тухли... Пожар перехватили в начале, и Горкушин, яростно срубая топором нарост рыхлого угля с бревен частоккола, плевался желтой слюной, грозился:

– Знаю, что бельмом я у вас... знаю. Вдругорядь сторожей с ружьями понаставлю. Пушку куплю! Стану вас, убогих, картечью сражать...

Затем, малость поостыв, зазвал Стесняева в свою контору, сел на скрипнувшую лавку, крытую шкурой пыжика, долго мял в руках опаленную пламенем бороду.

– Ты – кто? – спросил наконец столь резко, словно пальцем под ребро ткнул.

– Я? – испугался Стесняев.

– Да, вот ты.

– Рази не изволите знать меня, Тимофей Акимыч?

– Не изволю всех в городе знать.

– При акцизе состою, четырнадцатого класса чиновник...

Горкушин подумал о чем-то, шевеля плоскими пальцами.

– А в первом-то классе кто по «Табели о рангах»?

– Великий канцлер империи! – пояснил Стесняев.

– Ну а ты, мозгляк, еще в четырнадцатом шевелишься?

– Шевелюсь.

– Далеко тебе, чай, до канцлера? – подмигнул ему Горкушин.

– У-у-у-у, – провыл Стесняев, закрывая глаза.

– Ну, вот, – придержал его старик. – Хочешь, предреку тебе? Так и сдохнешь в состоянии мизерном. А в канцлерах тебе не бывать...

Горкушин достал бутылку с пахучим ромом норвежским, рука его вздрагивала, когда разливал по стаканам:

– Пей!

– Благодарствую на угощении. Не потребляю-с.

– Врешь! – не поверил купец, кося кровавым глазом.

– Вот свят! – скоренько покрестился Стесняев. – Ежели што, так у начальства обо мне спросите.

– Все пьют, – глухо буркнул Горкушин. – Потому как место здесь нехорошее... гиблое. Одно слово – тайбола!³

И, пожевав тонкими злыми губами, Горкушин сам выпил. Кашлянул густо, глянул просветленно:

– Видал?... Видал, говорю, как тушили? Пока сам исправник не прибежал, никто и ведра в руки не взял – рады, что богатый человек горит. А ты – молодец: бескорыстен ты! – И, помолчав, затем Горкушин добавил: – И глуп ты, наверное. Иначе зачем же так за чужое-то добро в полымя бросаться?... А ты и вправду не пьешь или привираешь?

Стесняев объяснил ему свое трезвое житие:

– Для прилику, ежели в гостях... А так – ни-ни!

– Шабаш тогда! – И купец прихлопнул пробку в бутылки. – Мне трезвый конторщик нужен... Ша! – властно остановил он Стесняева. – Место у меня хорошее, не воруй только.

– Да я... Фейкимыч, позвольте...

– Что?

– Заметить хочу...

– Заметь!

– Начальство дорожит мною.

– Так.

– А посему...

– Что посему? Не так-то уж и дорог ты с потрохами вместе. Однако – прав: без деньги и чирей не вскочит.

– Это верно, – засветился лицом Стесняев. – Где уж ему без денег вскочить? А человеку – тем более... Только никак не могу цареву службу оставить.

– Эх, дурак... ну и дурак! – захохотал Горкушин. – Ты, балбесина, на царской службе состоя, царя никогда не повидаешь. На моей же службе меня ежечасно во плоти узришь... Сколько тебе царь жалованья-то кидает сверху? Ну-ка, сознайся...

– Все шесть рублей, – сознался Стесняев.

– Ха! А я тебе четвертной в месяц кладу. Что, мало? Ежели в омморок падать станешь сейчас от радости, так вот – лавка слева. Кидайся на нее сразу.

.....

Когда появился Горкушин на Пинеге – никто толком не знает. Все помнят – и когда кабатчица тройню родила, и когда на свиней мор был, и когда кита заблудшего на берег у Мезени выкинуло, – а вот этого... не помнят, да и только.

А потому не помнят, что появился он как-то незаметно, будто исподволь. Сначала завезли лесины добрые и нездешние, чуть ли не сибирские, не спеша сруб поставили; скоро и дом вырос – широкий, в два этажа, на манер городского, даже крышу железом покрыли. И не успели еще пинежане оглядеть новую домину, как утром – глядь! – уже и забор стоит. Да такой, словно в остроге каторжном – едва крышу видать. Обыватель же северный заборов не уважал, на Севере они в редкость – здесь привыкли селиться открыто. Забор вокруг дома Горкушина поражал воображение пинежан, заставляя усиленно работать притухшую от лени фантазию.

³ Тайбола – местное название притундровой полосы, болотного редколесья, переходящего в просторы тундры.

– Нечистое дело, – говорили тогда, а торговцы, коли хоть одна монета перепала им от Горкушина, тишком ее тискали на зубах – уж не фальшивая ли? Кто его знает – что он там за этим забором по ночам делает?..

И так же незаметно, как и выстроился этот дом на самом отшибе города, так же неторопливо и крепко прибрал старик Горкушин к своим жилистым рукам весь уезд Пинежский.

Люди торговые, что сами испокон веков в богатеях знатных хаживали, на серебре евшие, вдруг взвыли в одночасье:

– Други милые, податься-то нам стало некуда. В тайболу кинься – он, проклятуций, уже всю рухлядь⁴ у самоедин скупил; в лес приди – люди его с топорами; брусной камень ломать захошь – а он, глядишь, уже чердынцам его запродад. Остолбил весь край заявками своими. У кажинного куста, будто кот худой, свою понюшку оставил... Губернатор-то за него!

Разорились на подкупы губернской казенной палаты – не помогает; грозили – молчит; унижались перед ним и заискивали – отвернется только. И когда проходил он по улице, в старом своем картузе, в засаленной сибирке из синего сукна, твердо ставя в грязь ноги, обутые в рыжие сапоги, вслед ему летело:

– Мы люди именитые... Тебя в пирог с треской пополам запечем. У нас в домах тоже паркеты шахматные... себя знаем!

Но однажды собрал исправник горожан поименнее и при всех вручил Горкушину маленький крест Георгиевский – все, что осталось старику от сына, поручика славного Апшеронского полка, погибшего при штурме аула Гуниб, где скрывался Шамиль со своими опричниками мюридами...

Долго не видели Горкушина потом. Притихла против него даже людская зависть и злоба – только желтел по ночам снег в конторе да бесновались на цепях мохнатые тундровые волкодавы. А когда переборол старик свое отцовское горе и вышел на улицу, все заметили: не тот уже стал, сник и хотя глядит по-прежнему жестко, а все равно – долго теперь не протянет... Сляжет!

И однажды пинежский почтмейстер Власий Пупоедов, перебирая ждущие оказии письма, заметил среди них одно, писанное грубым, неровным почерком. «Вдове поручика Горкушина – Екатерине Ивановне Эльяшевой» – так было обозначено на конверте.

Почтмейстер извлек берестяную тавлинку, украшенную фольгой, понюхал дрянного табачку, от которого даже чихало-лось через пень в колоду, и произнес таинственно:

– Никоим образом. Ежели што, так вот оно... туточки!

Воровато оглянулся на дверь, достал вязальную спицу, сплюсненную и раздвоенную на конце, – это было главное орудие его единственной и высокой страсти. Привычно продел эту спицу в отверстия на углах конверта, и через минуту письмо Горкушина, тонкой трубочкой накрученное на спицу, оказалось в мягких и ласковых руках Власия Пупоедова... Выяснилось, что купец к смерти уже готов и просит невестку, которая состояла с сыном в любовном гражданском сожитии, быть готовой принять богатое наследство...

– Туточки! – весело повторил Пупоедов, и тем же путем, с помощью спицы, он вернул письмо обратно в нераспечатанный и нетронутый конверт. – Эй, почтарь! Забирай...

Вошел громадный в медвежьей шубе ящик, молча сграбастал все письма со стола в длинный мешок и молча вышел на мороз, грузно топая в половицы тяжелыми казенными сапогами. А почтмейстер еще долго сидел в лирическом одиночестве, вспоминая:

«Приезжай... прими добро... слягу вскорости...»

.....
Еще осенью, когда леса заволокло желтизной, а болота окрестные скрипели по ночам ржавой осокой, Горкушин послал на Печору своего главного приказчика Антипа, и тот сгинул

⁴ Рухлядь – старинное название пушнины (меха).

бесследно. Или набрел на недобрых людей с ножиками за голенищами, или волк рванул его за глотку, подмял и стал жрать, разрывая когтями лицо, гулким воем созывая на пиршество своих товарищей. Так в этих краях бывает. А может, ехал он, ехал и заскучал; выбрал деревцо повыше, свил веревочку покрепче, да и повесился, сердешный, от обжигающей тоски безлюдных тайбол... И такое тоже бывает! Вот и понадобился купцу новый приказчик.

Истово и размашисто перекрестился Горкушин на образа.

– Робок ты, Алексей, – сказал он Стесняеву. – А потому робок, что беден ты. Беден, а не ворует; это хорошо. Хвалю! А не ворует оттого, что вина не пьешь; опять похвально! А вот коли воровать учнешь...

Тут Стесняев стал сам не свой – все иконы перецеловал:

– Да я... да мне хучь золото вот здесь в угол горой насыпь, рази я возьму? Да никогда... Сыт, одет... Благодарствую!

– Цыц! – пресек его хозяин. – Знаю, что все равно обкрадешь меня. Но потащишь немного, потому как настоящего таланту я в тебе не наблюдаю. А вот Антипка, царствие ему небесное, то гениус был... эхх! – крепко выдохнул старик, вспомнив. – Ну ладно. Так и быть: ходи, Лексей, ты у меня в приказчиках... быть тебе в классе первом, вроде великого канцлера империи моей!

Когда как следует подморозило дороги, Стесняев сунул за пояс два тупоствольных «бульдога» с туго забитыми пулями, старенькая Марфутка вынесла на подносе две чарочки – на дорогу.

– С богом езжай, – напутствовал его Горкушин. – Не забудь цены на доманик узнать. Насчет леса брусчатого поспрошай на бирже. В палате казенной, знаю, деньги тянуть будут, так более четвертной в одни руки не сули...

Важно приосанясь, тепло и нарядно одетый, промчался бывший акцизный, а ныне голова всех горкушинских дел Алексей Стесняев по улицам. Придержал лошадей возле дома исправника:

– Прощевайте, Анна Сократовна, еду до самого что ни на есть Архангельского городу... очень уж изнылся я по культуре этой!

– Ах, что вы!..

– Как приеду, все обскажу по порядку. Ежели угодно, то могу и дневник вести... Почитать дам потом, чтобы всю правду души моей наскрозь рассмотрели.

– И один не боитесь? – спросила исправница, вся замирая.

– У меня вот... – Показал ей «бульдоги». – На медведя заряжены. Как пальну – так враз с копыт в канаву. Соболагодолите заказ сделать – каких конфет привезти вам? Могу и в бумажках...

И, оставив вдали невеселые домики Пинеги, выехал Стесняев на прямую, как полет одинокой вороны, лесную просеку. Тронул за пазухой пакет с бумагами, сказал:

– Ишь ты, еще четвертной им давать, кровососам казенным! Мы, пока по акцизу состояли, так законы разучили всякие... Мы и без подношений все обделаем, как муху в патоке... И-эх, залетные, гони – гrrrrрабят!

Вернулся он из дальней поездки уже на Аксинью-зимницу, и вечером, в жарко натопленном клубе, учил девиц – как надо танцевать, чтобы не стыдно было показаться в Архангельске. Восемь дочек почтмейстера, как восемь здоровых кобылиц, вразброд топтали одинаковыми туфлями, сшитыми утонувшим в прошлую весну сапожником. Трио заблудших в Пинегу музыкантов, потрясая давно немывтыми патлами, терзали свои скрипки. В перерывах между танцами Стесняев не забывал выбегать в переднюю, чтобы проверить – не украл ли кто его новенькие галоши?

А в буфете запаренные от преферанса чиновники, таясь своих жен, торопливо глотали за ширмой водку, моргали кроличьими глазками. Им было любопытно – что там нового в губернии?

– А памятник Ломоносову все еще стоит в Архангельске? – спрашивал один у Стесняева. – Стоит, да? Это хорошо. Мы тоже пока стоим, еще не падаем...

– А вы, – интересовался другой, – не смотрели там водевиль «Невеста во шах и жених в гречневой каше»? Не смотрели... Жаль. Презабавная, скажу я вам, штука... Обхохочешься!

Стесняев чувствовал себя на седьмом небе. Взоры женщин в этот вечер были прикованы к нему, они расспрашивали его о модах, и как бы невзначай он говорил:

– Этот фрак мне шили у месье Роже... Каково?

Мешало Стесняеву в этот счастливый вечер только присутствие уездного секретаря – Аполлона Вознесенского: мятый и полупьяный, одетый в мундир, рукава которого доходили ему почти до локтей, он до забивания гвоздей еще не допился. Но был близок к этому. На всякий случай Стесняев держался от него подальше, а то... всяко бывает... еще в ухо въедет... При дамах неудобно в ухо звон получить!

– Только побывав в столице нашей губернии, – рассказывал Стесняев, – я воспылал любовью ко всяким знаниям. Как приятно там, господа! Тут тебе и музыкальные вертисмены, и магазины с конфетами в коробках, и галстуки поштучно... А вы бы видели, каков выезд у нашего губернатора!

– Видели, – раздался бас Вознесенского. – Мы видели. И въезд, и выезд. И туда, и сюда. И в штанах, и без штанов... И нас, в духовной академии пасомых, уже ничем не удивить!

– Что вы жаждали этим сказать, Аполлон Касьяныч? – смутился Стесняев, невольно заробев.

– Что хочу, то и говорю, – отвечал Вознесенский...

Стесняев еще раз проверил, на месте ли его галоши, и снова ринулся в танцы. Но слава героя дня померкла для него сразу, как только послышался певучий звон бубенцов. Все бросились к окнам, торопливо оттаивая ртом морозные узоры на стеклах. В вихрях снежной пыли промелькнула кибитка, холодно блеснули при свете луны лезвия штыков, и рослый жандарм, стягивая заиндевелый башлык, зычно возвестил собранию еще с порога:

– Господин пинежский исправник! По указу его императорского величества ссыльный Никита Земляницын, что осужден по делу государственного преступника Каракозова, доставлен...

– К нам?.. Никак в Пинегу? – слабо ойкнув, спросил побледневший от испуга Филимон Аккуратов.

– Да. К вам. По месту назначения, – подтвердил жандарм.

Пораженные, все долго стояли молча, словно соображая, что же происходит. Потом, словно по команде, толпа людей кинулась в переднюю и, хватая шубы и шапки, почти вытолкнула жандарма.

Обратно. На улицу. На мороз.

Стесняев все-таки успел надеть свои галоши.

.....
Откуда-то появился фонарь, и вся эта орава чиновников и их жен, полупьяная, размо-
ренная от печей и танцев, плотно окружила кибитку, в которой сидел государственный пре-
ступник.

После глухого полярного мрака яркий свет фонаря ослепил Земляницына. Закрыв глаза тонкой ладонью с длинными, словно из воска, пальцами, он сказал – устало и безразлично:

– Фонарь-то не обязательно... Завтра меня рассмотрите.

– Вот изверг! – искренне возмутилась исправница. – Нет, нет, не убирайте фонарь. Страшно в темноте с этим человеком...

– Со мною, – подоспел к ней Стесняев, – вам не должно быть страшно. Ради вас превращусь в тигру лютую и всем глаза выцарапаю... Хотите?

– Обыскать его надобно, – на высокой ноте прозвучал чей-то голос. – Он, может, всех нас ночью перережет!

– И – в холодную его, – заключил почтмейстер Пупоедов, – чтобы впредь знал, как на царя-батюшку нашего покушаться.

Расталкивая плечами толпу зевак, к кибитке протиснулся Аполлон Вознесенский – грубо сунул преступнику руку, сказал:

– Ррад! Весьма рад видеть культурного человека. Я счастлив! Позвольте мне обнять и поцеловать вас от души?

Земляничин пожал плечами, удивленный, и – отвернулся.

– Не желаете? Брезгуете? Напрасно... Ведь я тоже страдалец за землю русскую.

Тут подошел жандарм, велел солдату посветить и разомкнул на ногах студента промерзлые кандалы. Душевно посоветовал:

– Ноги-то, сударь, сразу маслицем смажьте. Подсолнечным хорошо бы. А сейчас можете идти постой себе отыскивать. Как найдете – исправнику доложите.

К удивлению толпы, жандарм очень тепло попрощался с преступником, коего конвоировал от самого Петербурга.

– Спасибо за компанию, – говорил ему жандарм. – Хорошо время провел... скушно не было, сударь. Еще раз спасибо за, компанию!

И когда преступник, взяв в руки тощий баульчик, вылез из кибитки и, зябко поеживаясь, сказал: «Погреться бы...» – интерес к нему сразу остыл, и толпа понемногу разбрелась.

Пинегга, где собака в две минуты пробегает от одной окраины до другой, уже знала: «анти-христов сын» шляется по городу, жиле себе сыскивает. Спускали с цепей битых-перебитых шавок, спешно накладывали крюки на двери, матери шлепками и руганью гнали детишек с улицы:

– Ванятка, Анфиска! Шасть в дом, постылые, вот я вас ужо...

И когда Никита Земляничин стучал в какие-нибудь ворота, дом глухо молчал, слепо смотрели закрытые ставнями окна. А какой-то нищий в рваном допотопном архалуке, подпоясанном веревкой, на которой болталась жестяная кружка, увязался за ссыльным и, грозя в спину ему суковатой палкой, все время вещал:

– Погибель тебе... у-у, иррод... сатана!

На пустынной базарной площади, под единственным на весь город фонарем, что качало на столбе ветром, стояли олени аргиши. Семейство канинских самоедов дружно распивало водку, заедая ее сырым снегом. Древняя безобразная старуха с громадной лысиной тут же справляла нужду и долго не могла подняться на ноги, сильно пьяная. Наконец она просто свалилась в снег и затянула монотонную песню.

Хозяин семейства, низенький самоед с трубкой во рту, подошел к Земляничину, дружески протянул ему тяжелую четверть с водкой, на дне которой плескался стручок перца,

– Ань-дорова-те, – протяжно поздоровался он. – Выпей, бачка, сярку. Тепло будет. Петь будешь... Тыко богатый, Тыко олешков продал, Тыко вторую жену покупать едет...

Земляничин вдруг разрыдался. А нищий откуда-то из темноты базарных рядов швырнул в него свежим оленьим пометом.

– А-а-а, проняло! – сипло загоготал он. – Плачь, родненькой. Плачь, миленькой. Это из тебя диавол выходит...

Из кабака, двери которого светились во мраке, выкатился вдруг кривоногий мужичонка, выкрикнул яростно:

– Где он... злодей-то? Сейчас я его бить стану!

И нищий, радостно вскинувшись, так что прыгала на спине котомка, бодро затрусил навстречу.

– Здесь он, – откликнулся. – Здесь... Я его стерегу...

Ретивый пинежанин уже размахнулся для удара, обжигая лицо ссыльного сивушным духом. Но тут из темноты вдруг выросла чья-то сухопарая фигура в шубе. Как бревно шлагбаума, вскинулась длинная рука – и пьяный кубарем полетел в снег, сшибая бочки и ящики, с треском прилип к стене амбаров. Нищего сразу как языком слизнуло, только настойчиво и долго бряцала в отдалении его жестяная кружка.

– Фейкимыч, – взмолился пьяный, не вставая с земли, – да я рази што... проучить маленько... Хосподи, надоумь!

Длинная фигура ткнула мужика валенком в бок:

– Пшшел вон, падлю мокрохвостое...

Это был старик Горкушин.

.....

Не говоря ни слова, Тимофей Акимыч взял из рук Никиты его баульчик и зашагал в темноту улиц, безмолвно приказывая ссыльному следовать за собой. А тот, измученный и ослабший, покорно шагал след в след старику, как-то с первого раза доверившись этому человеку.

Только введя ссыльного в свой дом, похожий на острог, купец снял с бороды наросшие ледяные сосульки, отбросил их к порогу, разомкнул плотно сжатые синеватые губы.

– Вша есть? – спросил со всей строгостью.

Никита промолчал, осматривая пустые бревенчатые стены, из пазов которых торчали седые, как волосы старухи, клочки тундрового ягеля.

– Неужто вшей нету? – удивился Горкушин. – В тюрьмах она, брат, по себе знаю, любого орла заест... Марфутка! – позвал он кухарку. – Истопи баньку для господина студента преступного! А ты (повернулся он к Никите) исподнее сымай, сымай...

Он вышел и скоро вернулся обратно, неся охапку чистого добротного белья. Бросил его на постель, сообщил мрачно:

– Сыновье ишо. Он у меня тоже... как бы это... тово, вроде, как и ты, сынок... Понял, что говорю?

– Нет. Не понял.

– А чего не понять? Тоже студент был. Ну, листки, значит, писал всякие. Его за это – на Капказ. Еще при Николае Первом. Не пиши, мол. До офицера выслужился. А тут...

И грубым корявым пальцем старик утер нечаянную слезу.

– Аул Гуниб... слышал про такой? Вот под этим аулом его саблями своими капказцы до костей обтесали. Это евонное. Надевай.

Горкушин положил ладонь на белье. Невольно погладил.

Часть вторая

Тоска зеленая

Архангельское общество естествоиспытателей природы, рассылая по всем уездам губернии анкеты с вопросами, не забыло и Пинегу – отпечатана анкета была на казенной бумаге и подписана столь неразборчиво, что такую неразборчивость могло позволить себе только лицо, высоко стоящее в ранге служебном.

Пинежский исправник Аккуратов в любое время дня и ночи мог ответить, сколько в его городе, согласно «ревизским сказкам», содержится лиц «мужеска и женска» полу, сколько свиней, коров и оленей, но... Эта казенная бумага вопрошала его совсем о другом: «В каком состоянии находится в уезде растительное (флора) и животное (фауна) царства?»

– Это дело, конешно, ученое, – рассуждал Аккуратов. – Коли о науках нас спрашивают, так тут особый ум иметь надобно...

– Совершенно справедливо, – отвечал ему писарь.

– Тэк-с, – важничал исправник. – Мы и ответим... Возьмем вот – и ответим. Чего тут долго раздумывать?

– Ответим, – подбадривал его писарь. – Как на духу, по всей правде ответим, ежели начальство нас спрашивать изволит...

Длилось молчание, потом – снова:

– Вот я и говорю, что тут особый ум иметь надо...

И так как своего «особого» ума у исправника не нашлось, то он пошел к учителю. Сам учитель в валенках на босу ногу сидел в кухне и качал на носке валенка своего пятого младенца, которого нажил – от тоски – со школьной стряпухой. При виде казенной бумаги в руках исправника учитель задрожал всем телом.

– Не верьте, ваше благородие, не верьте, – плачуще запричитал он. – Это все почтмейстер на меня поклепы возводит... Не воровал я школьные дрова, не воровал. И овцу школьную не я зарезал – она сама сдуру на косу наткнулась. Христом-богом прошу, не оставьте малых деток сиротами...

– Да о чем ты? – удивился Аккуратов. – Эва тебя, профессор, расквасило как... Про овцу-то я и сам знал, а про дровишки не ведал, что ты их воруеть!

Когда же учитель прослышал о настоящей цели прихода исправника, он долго моргал своими стеклянными пуговицами, потом, сорвавшись с места, бросился прямо на чердак.

– Фауны – нету! – кричал он с лестницы. – А флору эту самую мы сейчас... Мотря! – позвал он сверху стряпуху.

– Чаво? – откликнулось откуда-то снизу.

– Куда книжку мою подевала?

– А на чо она мне, книжка твоя?..

Учитель приволок с чердака пыльную книжицу.

– «Живописное обозрение», – похвастался он. – За целый год... Тут все есть, как в Библии. У одного майора жена сбежала, так он объявление о розыске ее тоже здесь пропечатал... Флору – это мы сейчас. Помню, была такая... Вот! – торжественно возвестил он, протягивая исправнику раскрытую книгу.

Аккуратов увидел изображение толстой и голой тетки лет эдак тридцати, которая нахально валялась в густой траве, прижимая к пышной груди букет цветочков. И – порхали над ней бабочки.

А под картинкой было написано: «Флора».

– Ну и стерва баба! – сказал Аккуратов. – Ни стыда у ней, ни совести... Однако занятная штука. Ну-ка братец, поближе к свету... Здорово нарисовано!

Однако казенная бумага ждала ответа, и Аккуратов заскучал:

– Ученость – она, брат, наука! Нехорошо, что ты овцу зарезал... А книгу эту я забираю у тебя. Негоже при школе, где дети учатся, такие книжки сомнительные содержать. Говоришь, тут майор жену ищет? Я вечером почитаю... А дрова не воруй!

Покинув школу, Аккуратов решил отправиться к ссыльному.

«Должен все знать, – размышлял исправник дорогой. – А то какой же он ссыльный, ежели не знает чего?»

Но прийти к Земляницыну только затем, чтобы расспросить о флоре и фауне, он считал неудобным. Гораздо удобнее нагряться с обыском!..

– Приятного здоровьица! – сказал Земляницыну, входя. – Уж вы не серчайте... служба! Отца родного продашь... присяга! Разрешите обыскать вас.

Встряхнув матрас и ощупав подкладку пальто, Аккуратов зачем-то долго глядел в кадушку с водой; что он там увидел – одному богу известно. Искал неумело – не было столичного опыта. Потом исправник подошел к книжной полке.

– Неужели все прочитали? – спросил. – Я-то вот долго читать не могу; у меня крапивница начинается. А вот доченька моя, Липочка... она – да, любит! Ну а как ваше отношение к разным царствиям, позвольте узнать? – издали начал исправник.

Никита слегка улыбнулся:

– Мое отношение к царизму... оно вполне понятно: я бы не сидел здесь, если бы относился к нему, как вы, к примеру.

– Мы-то сидим здесь, – ответил Аккуратов. – А чего вам в Москве да Питере не хватает?.. Ну а к растительному царствию вы, простите, как относитесь?

– Да никак не отношусь, – ответил ему Никита. Копаясь в книгах и ничего в них не понимая (всюду цифры, цифры, цифры), Аккуратов снял одну книжку с полки, и тут на пол выскользнул плотный конверт с громадным штампом.

– Позвольте... по долгу службы... – начал было исправник, поднимая конверт, но взглянул на орлений штамп и сразу подтянулся: – Э-э, пардон, это разве вам писали?

– Да, мне.

– Но тут подпись... значительное лицо вам пишет?

– Мой дядя по матери. Он служит в министерстве императорского двора и уделов... чином же – тайный советник!

Аккуратов сразу заторопился уходить, но в дверях еще долго переминался с ноги на ногу. Вздыхал, мямлил:

– Оно, конечно... образованность! Нам-то и невдомек бывает, что к чему... Приятно побеседовать с умным молодым человеком...

Лицо у исправника было опечаленное, когда он сказал:

– Доченька-то моя ногами больна, в этом году ее даже в Архангельск не повезли в гимназию... не учится! Вы бы, господин Земляницын, повидали б ее, потому как мы с супругой люди неначитанные, скушно ей с нами... А девочка умненькая.

Никита удивился подобной просьбе, но исправник его утешил:

– Ну, был грех: провинились вы. Так дома-то не сидеть сиднем. Опять-таки – и сородич ваш по министерству двора... На чашку чая... милости просим. Вы пироги-то какие любите больше – с морошкой или с салом оленьим?

Только выйдя на улицу, исправник вспомнил, что так и не узнал ничего о фауне и флоре. А потому, вернувшись в канцелярию, он сердито махнул рукой своему писарю:

– Пиши так: «По явному невежеству местных жителей означенные выше царствия – фауна и флора – найдены в уезде не были!»

.....

«...Итак, продолжаю, друг мой. Писание вынужден был отложить, так как нагрянули с обыском. Успел засунуть письмо это в самоварную трубу, куда заглянуть не догадались. Живу я мерзостно и скотски, среди мерзости и скотства. Может, Вам любопытно знать, что я делаю? Читаю, занимаюсь алгеброй и полит. экономикой. Но занимаюсь, к стыду моему, мало. Виной тому даже не болезнь, нажитая в Алексеевском равелине, а то поганое болото, в какое я угодил ныне.

Вы спрашиваете меня – читал ли я роман Тургенева «Дым»? Должен сказать, что здесь, в Пинеге, не только не выписывается никаких книг, но даже двухклассное приходское училище, во главе которого стоит какой-то тупоголовый дьячок, не имеет подписки на журналы.

Ото всего этого тоска моя еще безнадежней. Я Вам уже писал, с каким паническим ужасом отнеслись ко мне обыватели поначалу. Но потом попривыкли, стали втягивать в свою компанию, а мамыши уже приглядываются ко мне как к жениху, ибо в их глазах даже я, ссыльный революционер, выгляжу более завидной партией, нежели вся эта пьяная и дикая обломовщина. Мне тут предложили баллотироваться в здешний клуб, и это только повредило мне, потому что я, глядя на всех, начал сильно выпивать. Боже мой, до чего бывает гадко думать о себе «после вчерашнего»...

Вот почему, может быть, и хватаюсь за математику, как за науку, дисциплинирующую разум, не дающую ему совсем облениться, и прошу Вас прислать мне дифференциальные исчисления. Когда мне бывает особенно пакостно, я думаю о нашем Мите Каракозове. Что мы? Нам еще повезло. А его сунули в петлю и задавили. Говорят, что, когда его везли на казнь, Митя низко кланялся на все четыре стороны простому народу... Но – молчал!

Да, кстати, ходят слухи, что наш общий друг Ишутин сошел в Сибири с ума. А где сейчас С. Нечаев? Он как-то был в тени, но, поверьте, он еще натворит бед. Я пишу Вам так откровенно, ибо это письмо идет не через почту. Напишите мне – кто остался из наших на свободе и кому я обязан за присылку мне теплого шарфа? Засим, мой друг, прощайте.

Ваш Никита Земляницын

Р. S. У кого из московских оптиков лучше бледно-синие «консервы»? И что они стоят? Хочу выписать себе, а то самодельные «консервы» посеял, теперь хожу по улицам зажмурившись. Особенно режет глаза, когда бывает отражение при солнце».

Никита отложил перо, распрямил плечи. Прошелся по комнате, неслышно ступая мягкими меховыми тобоками.

«Есть-то как хочется! – сказал он про себя. – И деньги не присылают...»

Запечатав письмо, спустился вниз, в жарко натопленную контору купца. Горкушин сидел за столом, повязав голову теплым платком Марфутки, лицо его покрывали нездоровые красные пятна, скреб пальцами впалую грудь.

– Тимофей Акимович, вот письмо к моему приятелю...

– Ладно. Что мне до твоих приятелей?

– Со своей торговой оказией перешлете?

– Ладно. Пошто и не переслать? Чай, не бочка.

– Я вам так благодарен, Тимофей Акимович...

– Ладно. Что мне с твоей благодарности? На стенку не повешу.

– И еще одна просьба. Вы не смогли бы мне... вот бабушка... она обещала... – вышлет сразу, как пенсию за деда...

– Хрен с тобой и с твоей бабушкой!

И купец Горкушин выложил на стол перед ссыльным свежо хрустнувшую ассигнацию.

.....
Пинега того времени знала следующие болезни: лихоманку, потрясуху, ломовиху, икотницу, гнетуху, жаруху и маяльницу. Не обозначенные в медицинской литературе, эти болезни широко были известны на Севере. Как правило, все они излечивались одним способом, завещанным еще праотцами. Обычно к больному, когда он заснет, подкрадывались исподтишка и выливали на него ушат воды колодезной, после чего болящий с испугу вскакивал. Ежели здоров – то уже не ложился, а если бог призывал его к себе настоятельно – то уже и не вставал, со смирением христианским поджидая гласа трубы смертной.

А вот чем была больна Липочка Аккуратова, дочь исправника, того никто не знал. Зане-дужила с шестого класса гимназии ногами. Чем дальше – тем хуже. Пришлось с учения снять, дома девицу содержать, и было то для исправника тяжко. Коли кто спрашивал его о здоровье дочери, он с болью сердечной отмахивался:

– Э-э, лучше и не говори...

Липочке всего семнадцать лет. Невеселая молодость, неуютный родительский дом, молодящая мачеха, нянька пьет по углам наливки; зачитанный томик стихов Некрасова, изредка письма гимназических подруг и больные ноги. Сама же Липочка считала, что вся ее болезнь – только от страха: в Архангельске ее напугал до смерти один пьяный на улице; от страха ноги у нее подкосились.

– Вот если бы кто меня опять напугал! – мечтала она. – Может, новый страх победит страх прошлый, и я тогда пойду...

Липочка берет костыли, выходит на крыльцо, дает унылому Полкану лизать свои руки, а сама плачет... Архангельские врачи советовали ехать в Баден-Баден или пробить сезон на купаниях в Аркашоне, что до глубины души возмутило исправника.

– Вам легко рецепты писать, – ругал он врачей. – Как же! Сел и поехал... Экие деньги, чтобы в воде лежать. Фелшар мой в уезде того не сказывал, чтобы ехать из России!

Так и осталась девушка вековать в Пинеге. Добрая и жалостливая, словно вытканная из незлобия и наивности детской, Липочка бинтовала кошкам и собакам перебитые лапы, а когда кто-либо из ее пациентов умирал, уносила их в сад и закапывала; там у нее было уже целое кладбище – кошачье и собачье.

Осенью ее возили в село Долгощелье, к одному зырянину, что славился в уезде как ловкий знахарь. Заросший густыми волосами, как леший (а глаза – молодые-молодые), этот знахарь, ухмыляясь чему-то в бесовскую бороду, отнес Липочку в жаркую темную баню. Там он играючи швырял на каменку ушаты с водой, хлестал по ногам девушки вересковым веником.

И весело покрикивал на девицу, словно на лошадь:

– Нно-о, милая... поехали за орехами. Нно-о!

От душного пара, пахнувшего чем-то странным, томительно кружилась голова, и Липочка вдруг ощутила на теле своем жесткие пальцы знахаря. Она закричала, а знахарь, отбросив прочь веник, даже обиделся на нее:

– Ишо лечить вас, листократов! Ну и ползай как можешь...

Вот и ходит она, постукивая костылями, по дому; из комнаты в комнату тянется, словно нитка, ее жалобный голос:

Скажи душою откровенной —
Любила ль ты кого-нибудь,
А слезы грусти сокровенной

Лиля ли ты себе на грудь?
Скажи ты мне,
Скажи ты мне...

А со стены, мрачно и сурово, взирает из «красного угла» серьезный писатель Писемский, портрет которого отец Липочки приобрел у заезжих офеней как изображение петербургского митрополита.

– Папочка, – не раз просила Липочка отца, – снимем Писемского из-под икон: ведь не святой он – романы сочиняет.

– Мыло не мыло, а купил – так ешь! – мудро отвечал ей папа. – Деньги я платил за него как за митрополита, и пушай висит. Писателев таких я не знаю, а борода у него вполне подходит духовному званию.

– Опозоримся мы, папенька... – слабо покорялась Липочка.

.....
Земляничин пришел как-то под вечер. Долго обметал в сенях снег с тобоков, а Липочка уже знала, что это он, это о нем говорил отец. Было немножко жутко и даже сладко слышать за дверями его голос – голос еще незнакомого человека» который пришел не к отцу, не к матери, а – к ней... Он будет сейчас первым ее гостем в жизни!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.